

ДВА РАССКАЗА

ГЛУБИНА НЕБА

Это неправда, что небо бездонно. У него есть своя глубина. Как и у Земли. И людей всегда живет на Земле строго определенное количество. Чтобы всем хватило места и там, и там — и на небе, и под землей. «Из земли вышли, в землю уйдете!»

«Пусть мертвые хоронят своих мертвецов!» В землю уходит прах. Души возносятся «в небо», как принято говорить. Но как в земле покоится только прах, так и в небе не порхают никакие «души», бесплотные птицы.

Высокие чувства — единственное, что возносит нас в глубину небосвода, точно так же, как низкие помыслы низвергают нас на землю и глубже. В снах и мечтах, грезах любви мы становимся обитателями небес, оттого они и вполне похожи на дом, обитель, которая имеет свои уютные размеры.

Куда же уходит смертный человек после своего конца? Кто знает. Не будем понапрасну тревожить Бога. Может быть, мы попадаем на Луну? На ту ее сторону, которой не видно? Поживем — увидим.

Я смотрю из больничного окна на далекий горизонт. Небо в закате. Холодное золото быстро меняет цвет — от белого до червонного. Шафран и вишневый сироп, лимонный сок и кровь гранатов. Ветрено, судя по кронам и бегу туч. Далеко зажигает свои огни небоскреб «Сименса». Небо отвечает пурпурным прожектором из прорана в высоком облаке — источник сразу округляется в могучее тело светила, так что видны протуберанцы, — все стекает за горизонт потоками киновари. Быстро опускается занавес синих и фиолетовых плотных туч, пряча упоительное волшебство, адресованное только мне. Высыпают городские огни ожерельями проспектов и улиц. Люди обнаруживают себя суетой так и не поднятых к небу лиц. Зажегся неон вывески табачной лавки внизу. В соседнее окно видны хозяйственные постройки больничного двора, прилепившийся домик — мастерская скульптора, в палисаднике рядом белые изваяния привидениями крадутся в темных кустах. Еще правее — хоспис, приют для безнадежных. И совсем в углу скрыт ветвями морг.

Я на этот раз помещен в нервное отделение, тут живет своеобразное братство: персонажи с нервными расстройствами, рамолики — впавшие в детство старики, наркоманы в кризисных состояниях, вылезающие из них без большого оптимизма. Кто вылез окончательно, оживает, мечтает, наверное, о новых кризисах. Есть маниакалы, окончательно ушедшие в себя, смотрят часами в одну точку. Иногда голова падает на одну сторону — левое или правое плечо. Шепот бреда. Есть на вид совсем здоровые и крепкие ребята, их привезли с травмами, полученными, когда они не помнили себя: переломы, ушибы. Общая беда сближает. Как и общие склонности. Все это люди, выпадающие из «нормативного» существования. Многие тут не в первый раз. Братство же они составляют в противовес тем, кто живет в согласии с обществом и его нормами.

У здешних — религия отрицания. У тех, кто на воле, тянется в автомобилях, спешит по тротуарам в пиццерии или на фитнес, свидания или в кино — у всех у них религия утверждения нормы: семья, дети, любовь, работа. Иногда крики спецсигналов неотложки снизу, с улицы, вместе со свертканием разноцветных мигалок оповещают о том, что кто-то сменил «религиозную» принадлежность. Тогда через некоторое время к нам поступает новенький или новенькая.

Я курю у окна с девушкой, у которой руки от запястий до локтей в мелких шрамах порезов — мания суицида, ухода из жизни вообще, разрыв с обоими культурами. Разумеется, не без наркотиков той или иной степени тяжести.

Она страдает бессоницей, как и многие здесь. Я тоже. Потому мы часто сидим в курилке до поздней ночи. Или в несусветную рань. Тут позволено. Мало того, стоят кофеварка и «вассеркохер» — электрочайник, — можно варить чай и кофе, хоть залейся. Пакетики с тем и другим в коробках рядом. Вспоминаются наши больницы — там несколько иначе. Особенно для «психов» — их тут вдвойне жалеешь. Почему, ну почему у нас все так? Здесь много кофеманов, всюду кружки с остатками кофе.

Мой сосед по палате Ральф достает кофе, даже когда уносят агрегаты под утро вместе с пакетиками чая и кофе «Хаг». К Ральфу персонал благоволит, как, впрочем, и больные. У него сломана нога во время другой «ломки», он и здесь курит табак из военного магазина, утверждает, что там есть — каннабис, как я понял, он намекает на наличие там опиума. Ральф обаятелен, весел, общителен, его нельзя не полюбить.

Девушку, с которой я курю, зовут Герта. Она мне нравится. Мне хочется чем-нибудь ей помочь. Ободрить, что ли.

Население палат постоянно дефилирует, оседает частично в курилке, перебрасывается как бы через силу произносимыми фразами, которые часто вызывают искренний смех, недоступный мне происхождением. И так-то малопонятный мне немецкий язык здесь превращен в кусочный сленг, рубленные идиомы, в которые я вслушиваюсь, пытаюсь изо всех сил понять, но если и понимаю, то уже после того, как все отсмеялись. Тогда моя улыбка выглядит вполне идиотской, подстать месту.

Меня самого понимают после многовариантных моих формулировок.

Вчера Герта отличилась: сожгла окурком тыльную сторону ладони в нескольких местах. До крови. Я заметил и отвел ее к медсестре. Ее перевязали, что она восприняла, как обновку. Потом все женщины отделения пошли во главе со старшей сестрой в соседний «Кауфхоф» — универмаг неподалеку. Была ударная распродажа. Вернулись уже с настоящими обновками: кроссовки, майки с лихими надписями. Герта пришла в супермодных кроссовках и майке с надписью «Некурящие тоже умрут!»

У телевизора пультом завладевает очень толстый турецкий юноша. Он быстро находит турецкий канал и часами слушает заунывное пение под бубен и струнные национального происхождения. Певцы тоже отличаются тучностью. И певички. Все остальные терпеливо слушают без признаков недовольства. Такая терпимость в таком месте меня восхищает. Я от этого воя лезу на стену. Потом кто-то все-таки отбирает у турка пульт и ставит сериал. Зажигаются роковые страсти: два брата любят одну, она любит обоих. В итоге проливается море крови. Тонкости мне растолковывает Герта: «У нас так часто бывает!» Надо сказать, что мои знакомые немцы живут как-то спокойней, что ли. Хотя в доме, где я живу, как раз подобралась подходящая под этот сериал компания: сестры, живущие без мужей, приходящие кавалеры, в меру постоянные. И неизвестно от кого и чьи шумные дети. Летом они ставят под окнами на газоне стол, стулья. Гриль тут стоит всегда. Под выходные и праздники синий чад поднимается ко мне: пахнет обугленным мясом. Пируют все вместе и так же беспричинно и громко хохочут.

Сюда, в больницу, приходят посетители ко всем. К Герте приходит серьезный и солидный бородач, но нельзя понять, муж или просто друг, «фройнд». Ко мне не приходит никто. Мне нужна смена белья, майки, рубашки, нужны деньги на табак, гель, лосьон — много чего. Я выпрашиваю сопровождающую, мы едем домой на ее «Хонде». Около дома пасется чья-то кроха. Она смотит на меня, как на выходца с того света, потому что я небрит, и еще она видела, как меня забирала «скорая». Ей любопытно тем не менее. Я набиваю целую сумку. Маек я беру специально много с умыслом: мне хочется сделать кое-кому подарки. Все равно не ношу, потому что все мои тишотки молодежного содержания — по рисункам и надписям. Покупал раньше, из расчета на вечную молодость. Одна майка оповещает о принадлежности к американским вооруженным силам, она, естественно, предназначается Ральфу с его каннабисом.

Везет меня старушка из евангелического общества, которое приставлено к нашей больнице «Святой Марии». Мы лежим в отделении «Урсула-1». Выше есть отделение «Тереза-2», для совсем уже психов. Они сидят под замком, не то, что мы — под честным словом, — выходить с разрешения. Зато у психов еще более свободные порядки, они ночами напролет пьют кофе и дуются в скат или кости.

Старушка ведет «Хонду» лихо, мы домчали до больницы, успев заехать и в сберкассу, и в табачку, и в ларек с напитками. Я набит подарками: сигареты, шоколад, кола, майки, сок.

Ральф доволен донельзя, хотя тишотка ему велика. Он начинает всучивать мне свое барахло: майки, рубашки, даже выходные ботинки из итальянской кожи. Вообще вещи ему кажутся лишними, весь мир вещей. Хотя его гардероб подобран со вкусом и недешев. Я отбиваюсь, пока не откладываю незаметно его подношения в его шкаф. Герту я кормлю шоколадом и дарю ей студенческую майку с надписью «Кампус». Майка морских цветов, в голубых полосах, ей очень идет. Она радуется так, что лет десять с нее слетает по волшебству.

Курим, все в обновках и все довольны. Ральф ездит на «рольштуле» — креслекаталке, целит во всех загипсованной поднятой ногой, что оправдано теперь его воинственной майкой.

Второму соседу, супермену с лицом греческого гоплита-пехотинца, я дарю майку в черных пауках на узких лямках. Он очень доволен, но не думает скрывать своей неприязни ко мне, иностранцу. Подозреваю, что он близок к бритоголовым. Глядя на меня, он морщится. У него никогда нет сигарет, его навещает один собрат по убеждениям, наголо бритый в пирсингах. Но курева «собрата» ему почему-то не приносит. Когда я отдаю гоплиту полную пачку, он принимает это как должное. Безразлично спрашивает, далеко ли Россия? Я отвечаю, что тысячи три наберется. Голова его неожиданно падает набок, глаза стекленеют. Приступ. Когда приходит в себя, говорит в пространство: «Не так далеко...Купил бы билеты и поехал!». Я его намек понимаю.

Ночью пьем кофе и курим с Гертой. У нее кровит вторая рука. Что там она с ней сделала — неизвестно. Идем, заклеиваем у ночной сестры. Мне жалко Герту до слез, она сама не теряет при всем при том ни юмора, ни азарта. Касается моей руки. Извиняется и благодарит. Без перехода. И опять — силпый смех.

Утром следующего дня привезли новенькую. Эксцентричную худощавую женщину, похожую на актрису немого кино Ольгу Хохлову. Я видел Хохлову в виде некоего мумифицированного существа на пляже в Сухуми сто лет назад, до их войны. Она дарила меня вниманием с грацией действующей кинодивы. Кожа, помню, у нее не хотела загорать, розовым тюлем окутывала кости. Ее, кто-то вспоминал, любил Пикассо. А время грызло и грызло крысиные ходы, догрызаясь до костей и Хохловой, и Пикассо, и этой новой пациентки. И все они не хотели сдаваться, как Герника. Новенькая просит у всех подряд дефицитное курево только для того, чтобы раз-другой затянуться и оставить сигарету с алым ободком помады

дотлевать в пепельнице, а самой тут же умчаться, пока седой пепел не отваливается в который раз. Тогда она влетает в новом наряде, кимоно или бальном платье с блестками, чтобы опять попросить сигарету и снова умчаться для очередного переодевания. Она прекрасно поет по-французски, Ральф подпевал ей как-то, вдвоем у них получалось вообще замечательно.

Вечером она уже плакала в коридоре. Ей в чем-то отказывали, она вызывала по мобильному телефону адвоката. Тот, что удивительно, приехал, несмотря на поздний час, привез баул с нарядами и кучу блоков сигарет. Она не бедная, эта женщина, но продолжает просить курево и бросать его в курилке. Когда она спит?

Ночью мы опять стояли с Гертой у окна. В синей бархатной прохладе городского сумрака плавали теплые плоты окон. Иногда некто, терпящий бедствие, курил, лежа на таком плоту, опершись локтями о подоконник, уставив глаза в океан ночи.

Этажи небес темны, соревнуясь в степени плотности спрессованных в них чернил. Ангелы вряд ли уже спят, они, скорей всего, не ложились. Однако их отсутствие сегодня почему-то особенно ощутимо.

Я нахожу на небе особенно плотный слой — крышу, и под ним я обнаруживаю чердак — просвет побледнее, даже с «окном»-прораном, сквозь который виден месяц.

Там пока пусто. Новенькая проходит мимо со счастливым лицом, слезы на нем еще не высохли.

— Пожалуйста! Пожалуйста! Дайте закурить! Всего одну сигаретку! Только одну!

В моем доме, где сейчас живу, тоже есть чердак, скорее маленький чердачок. Там стоит кое-какая мебель из ротана — это род тростника, рамы для картин, которых больше никто никогда не напишет. Пахнет несбывшимся.

На немецких чердаках есть обязательно окно в покато́й крыше. Люк-фрамуга. В него видны звезды, проплывает качалка месяца. Я решил, что это самое подходящее место для меня и Герты. Будем сидеть в ротановых креслицах, пить кофе и смотреть на дым наших сигарет, уплывающий к звездам. Во-он туда!

Я смотрю в уютный закуток неба под чернильной небесной крышей, где обнаружилось окошко, куда заглядывает народившийся месяц.

— Ты завтра выписываешься? — спрашивает Герта.

— Ага. «Ганц генау». Точно.

— Придешь меня навестить?

— Натюрлих! Конечно!

— Я буду тебя ждать!

— ОК!

Наутро я выписался. Стукнул ладонью в ладонь Ральфа. Обнял Герту слегка за худое плечо. Супермен заблаговременно смылся, чтобы избежать объятий.

Через неделю я пришел с цветами и шоколадом. И стекляшкой для Ральфа из его любимого военного магазина, — стекляшка как-то используется при курении каннабиса, мне объяснили. Герты нигде не было видно.

— В реанимации. К ней нельзя. Плохо — «швириг», — говорит сестра.

— Изрезала всю руку, — говорит Ральф, не переставая улыбаться. — Нашли только утром. В душе. Пошли, покурим!

Мы идем, а я вспоминаю, что душ открывают в полвосьмого утра, когда приходит смена. Значит, пролежала всю ночь на кафельном полу...

Курим. Я отдаю Ральфу стекляшку. Ральф тут же придумывает ей назначение — курит, пропуская через нее дым. Как раз для его каннабиса. Чем я могу еще помочь? Выйдет и заменит мистический каннабис вполне реальным хашем-гашишем.

Рядом садится давешняя новенькая в сногшибательном туалете. Гладит меня по плечу, по руке. Точно она понимает что-то сверх того, что видят другие. Например, что мой чердачок будет стоять пустой. Разве что в том, небесном, появятся любители ночного кофе. Я ведь сюда загремел после очередной попытки отравиться.

КЛУБНИЧНАЯ ПОЛЯНА

Ева всегда знала, что найдет ее. Недаром она столько раз видела ее во сне.

Это поле обычно брали в аренду турки. Турки из сельской местности, имевшие опыт сельскохозяйственных работ. Они приехали из Анатолии большой семьей, часть занялась торговлей — открыли лавку овощей и фруктов в турецком районе, а другая часть арендовала землю. Это поле они засадили клубничной рассадой. Возни, по их понятиям, было не так уж много по сравнению с тем, что они имели дома. Тут, в Германии, не было проблем ни с удобрениями, ни с арендой мини-трактора, ни со средствами борьбы против вредителей: все было в наличии, и все доставлялось вовремя. Ох уж эти немцы!

Главная возня была с прополкой, подрезкой и прочим, но тут их выручали женщины, которых было в достатке. Семья есть семья. И никому не надо платить, для немецкой семьи такое немыслимо. Затраты на выращивание сводились до минимума. После уборки они запашут и обобранные кусты клубники, и необобранные — сроки были оговорены строго.

Лучшую часть, хорошо удобренную и ухоженную более тщательно, они оставляли для уборки своими силами: сами убирали, подключая детей и стариков, сами везли в свою и соседние лавки, сами продавали. Эта часть была огорожена условным ограждением из струганых палок и ленты, какой «полицай» огораживают места дорожных и прочих происшествий — красный с белым пунктир. Остальное пространство отдавалось на «самообслуживание». Местные немцы и эмигранты — последние с особенной охотой — брались сами собирать в свою тару. Какая-то тара имелась у арендаторов на продажу: «шале» — коробочки из пластика и «корбе» — плетенные из стружки прямоугольные лукошки-корзинки. Дешево, но не слишком. Многие приносили свои корзинки и пакеты. Иногда пластиковые ведра.

За «самоубранную» клубнику хозяева брали дешевле. На полтора евро. И позволяли есть «с грядки» сколько душе угодно.

Немцы — расчетливый народ, они охотно шли на «самоуборку»: экономия плюс дети наедались «от пуза», плюс моцион, нечто вроде фитстудии на открытом воздухе. «Аэробика» или, как пошутил Ахмет, «Ердбеереробика», «ердбеере» — по-немецки «клубника».

Ева набрела на «поляну» недавно. Она сама так назвала ее случайно в разговоре по телефону: «Ты знаешь, — сообщала она подруге, — там ее целая... большая поляна! И такая крупная! И ешь сколько хочешь!» «И почему?» — спросила подруга равнодушно. «По рупь шестьдесят! В смысле евро!» — хотела удивить Ева. «Подумаешь! У нас в «Плюсе» по два! И ни тебе нагибаться, ни горбатиться!» «Так там свежая! С грядки! И ешь сколько хочешь!» «Я ее вообще не ем, — заявила подруга, — а для маски несвежая даже лучше!» — Ева вспомнила, как часто заставляла подругу с лицом, вымазанным розовой клубничной массой. «Детей возьми! Пусть поедят!» «Их туда на аркане не затащишь! Им готовое подай!» — подруга уже немного презирала Еву, что чувствовалось. И всего за то, что она хотела пойти на клубничное поле, пособирать сама. Ева повесила трубку: «Как хочешь!»

Еву привлекало пойти не желание дармовой ягоды, не жадность — она и за витаминами не гналась, и масок отродясь не делала. У нее были другие мысли и желания. Смутные. И связаны они были с одним эпизодом, который едва не искалечил Еву жизнь. Но не искалечил.

Жила Ева в большом промышленном городе на востоке Сибири. Точнее — на рабочей окраине, рядом с новым заводом. В городе полно выросло после войны заводов, дымы всех цветов — самое яркое воспоминание. И воздух соответственный. И вода. Она и забыла, когда ела клубнику. Забыла, да не совсем.

Еще в техникуме их послали в подсобное хозяйство, обирать с картошки жука. Напал в тот год такой вредитель на все картофельные поля. По старой памяти его еще звали «колорадский». И в том подсобном хозяйстве, как узнали прониравые и голодные дети, было поле с клубникой. Конечно, решено было «навесить». Ближе к ночи. Взяли фонарики, чтоб не набрать зеленых. Накрывались курткой, чтоб не видать было ни огонька, и так на корточках и пробирались. Но сторож засек. Все сумели удрать, Ева — нет. С набитым клубникой ртом и нелепой плетенкой, в которой и перекатывалось-то несколько ягод, предстала Ева перед сторожем-кавказцем. Одно запомнила Ева — он был немолод, глаза только дикие, горели почище фонарей... Остальное вспоминать не хотелось. Забыла. Выяснилось — до поры.

Когда Ева набрела тут на клубничное поле, свою «поляну», она инстинктивно поискала шалаш, где мог прятаться сторож. Но, конечно, никаких шалашей не было. Только будка, где молодая женщина с ребенком взвешивали ягоды и вели расчет. Ребенок баловался с весами. Все на доверии. Причем, кто кому должен был доверять? По мнению Евы, турчанка взвешивала на глаз, а ребенок «помогал» весьма условно — что там они видели на электронном датчике, один Бог знал, покупателям же видно не было. Но собирать позволено было безо всякого надзора: хоть сбегай с полными корзинами на все четыре. Никто не сбегал. «Чудно», — усмехнулась Ева.

Никто бы не объяснил Еве, почему она ждала встречи со своей поляной. «Клубничным полем»? Никто ведь не знал: тот сторож в подсобном хозяйстве, что ее поймал, и был ее первым мужчиной. Со всеми безрадостными последствиями. И тем не менее, она ждала и дождалась. «Земляничная поляна», ее «клубничное поле» дождалось ее. В двух шагах от города. Макс отказался везти ее туда. «Тебе не стыдно будет?» — «Да чего стыдиться?» — «На дармовщинку там пастишь?» — «Да перед кем?» — «Перед другими! Местными!» — «Да они такие же! В совсем свежей полно витаминов! И дешевле! И нам наберу!»

Стыдно ей было. Как тогда, когда она ела клубнику в Германии впервые. Макс купил по неопытности много — целую плетенку. Да еще хитрый баллон-спрей со взбитыми сливками. И стыдно не потому, что, с ее точки зрения, они не совсем заслужили такую роскошь. Нет. Стыдно было даже не потому, что в России осталась близкая родня, кто не мог себе позволить подобное лакомство. Стыдно было совсем по другой причине: пятый год они были в браке, третий — в Германии, а детей у них так и не было. С Максом все было в порядке, так говорили врачи. А вот с ней... Может быть, их город, хищный и ядовитый, оставил свой след? Макс был из сельской местности, из поселка, который они между собой называли «немецким». Там жили дети и внуки сосланных когда-то немцев. Родители Евы перебрались в их промышленный город из Средней Азии, когда, в связи с переменами, русским там стало «неуютно». Тронулись тогда со своих мест многие. Ева была маленькой, но лица запомнила. Особенно лица женщин. Проклинающих женщин. «Может, сглазили?» — думала она иногда. Там, в Средней Азии, она впервые попробовала клубнику. Покойная бабушка купила ей тайком на базаре, родители считали клубнику, ягоды баловством. Жили бедно, отец был все время без работы. Нанимался «по-черному», как здесь многие нанимаются.

Турки повесили объявление, что наступает последний день сбора. Они, как всегда, планировали, что в этот день придет побольше народу. Следующий день они отводили под бесплатный сбор — добор. А еще через день должен прийти трактор. Дни стояли на редкость жаркие. Люди ленились, шли неохотно. Поле все-таки было на отшибе. На машинах мало кто приезжал. То ли не хотели «светиться», то ли не было машин у большинства «самосборщиков». Ехали на велосипедах, шли пешком. А в такую жару — неохота...

Ева чуть не прохлопала тот критический день. Совсем последний. Арендаторы убрали свои «полицейские» ленты, закрыли будку с весами и ушли, предоставив

делянки последним «клубничникам». Солнце стояло в зените. Пекло — дальше некуда. Ахмет, окинув поле взглядом, сказал: «Сколько осталось! Вот тебе и «ерд-беереробика!» Мало похудеют немецкие фрау».

Поле поразило ее обилием красных, переспелых, мясистых ягод. От них шел тяжелый сладкий дурман. Она долго ходила, выбирая местечко поурожайней. И чтобы народу поменьше. Все ж таки было неловко. Теперь еще и от того, какие мысли бродили у нее в голове. С какой мечтой пришла. С собой она принесла два пластиковых ведерка, с которыми ходила «путцать» — убирать к состоятельным хозяевам.

Она присела на корточки и стала обрывать ягоды покраснее и покрупнее. Оказалось, что они — не самые вкусные. Самые вкусные были средней величины и розоватые.

Она решила не торопиться. Есть не хотелось. Потихоньку стала наполнять ведра. «Интересно, а как я повезу их на велике?» — подумала она. И вдруг тайное намерение выплыло из глубины сознания и стало четко сформулированным желанием. «Вот и будет маска! Маска так маска!» — Ева засмеялась от дерзости того, что собиралась сделать. «Придется дожидаться вечера!»

Вечер наступил неожиданно быстро. Что он наступил, Ева поняла, когда зажгли фары проезжающих по шоссе поодаль автомобилей. Они гирляндой опоясывали кромку поля и, как по новогодней елке, петлями поднимались на ближние невысокие горы. Огни терялись где-то наверху, где угадывалась вершина, над которой уже повисла бледная рябая луна.

Сборщики ушли. «Дурни, взяли бы фонарики!» — подумала Ева, вспоминая подсобное хозяйство и тот ее роковой вечер.

Ева взяла ведра и пошла на самую середину поля. Она медленно высыпала ягоды на небольшую прогалину.

Шафраном отцветало небо в стороне заката. На синий бархат высыпались звезды. Ягоды в полутьме казались черными и живыми.

Ева быстро скинула с себя одежду и, замирая от жутки, медленно легла в холодную, одуряюще пахнущую трясины. «Маска так маска!» — шептали ее губы. Холод, жар, озноб, ожог — нет слов, чтобы описать ее ощущения, когда она слегка поворачивалась с боку на бок. Потом она легла на спину, руками растерла пригоршни ягод по лицу, по груди, бедрам...

Она не слышала, как подъехала машина. Не слышала, как Ахмет, воротившийся за весами, подходил к ней, заметив на поле нечто необычное под луной...

На будущий год, в начале апреля, Ева родила девочку. Рыженькую, как морковь. Радости Макса не было границ. «Я говорил, что в Германии медицина все может!» — говорил он Еве.

Он хотел, чтобы она была благодарна ему, который вывез ее сюда. Она и была благодарна. «У нас в роду, ты не поверишь, рыжие повторяются через поколение!» — говорил еще Макс, черный, как грач. Ева улыбалась: «Верю, почему “не поверю“?!»

Рыжим был тот, сторож, ее первый мужчина...